



# ВОЛШЕБНЫЙ ЖАР

*К 130-летию Марины Цветаевой*

1

«Как искры из ракет»...

Хрестоматийное определение появления в литературе Цветаевой, сделанное ею же, вращалось вокруг предположения: «Когда не знала я — что я поэт...».

Кажется, она родилась не в жизнь, не в действительность, а в державу, в империю языка, которую ей предстояло несколько видоизменить своим присутствием; или — изменить настолько сильно, что уже вряд ли последующим поэтам можно писать так, будто её не было.

Сложно сказать — долетели до неё брызги огня Маяковского, или всё шло от избыточной раскалённости собственного дара; ибо то, что большинство посчитало бы мелкой тенью, в Цветаевой вспыхивало фейерверком роз; розы эти, разлетаясь словесными лепестками, просвечивали каким-то совершенно необычным миром, одаривая привычный многим.

Чудеса рифм: они вихрились, вырывались из собственных недр, возникали там, где казалось бы их и быть не должно; совершенно необычный синтаксис — опять же вихрящийся верёвочно, рваный и вместе с тем цельный; словно многие двойственности жизни сводились в одно, давая новые и новые лестницы подъёмов в невообразимые пространства.

Европейский лад, казацье неистовство, мчащийся, скачущий автобус, вдруг обрывающийся безумием Навоходоносора. Вырастала «Царь-девица», играл с лунным светом Казанова, неистовство античности выкипало, выхлёстываясь через край современностью страсти...

Она была своею во всех веках, прожив избыточно жизнью; она горела пророчеством о будущем: пускай смутным, рассыпанным великолепием искр по самым разнообразным линиям стихов и поэм; она возводила «Поэму Горы» и «Поэму конца», так, что никакой конец был невозможен, а горы громоздились тою метафизической вечностью, от которой грезят все поэты...

И, кажется, в бесконечном продлении, Цветаева продолжает ткать, рвать и создавать бесконечные варианты реальностей, оставляя их на земле в неистово кипящих недрах своего творчества.

Лестницы меж облаками — ступени прозы Цветаевой; прозы, разворачивающей действие мысли: её театр, её замечательные панорамы.

«Дом у старого Пимена», или «Отец и его музей» — как сочетают, полновесно соблюдая баланс, историю собственного (Цветаевой) духа, и историю времени, где свершения важны только в духовных планах.

Никакой игры — только игра созвучий.

Жизнь — смертельно всерьёз: мистикой поиска пронизанная, уходящая в бездны смерти.

Жизнь рвётся жимолостью — и чёрт из рассказа не так страшен, как обвал в мешанство, в дебри быта, в вещизм.

В Цветаевой много от странствия дервиша, у которого вечность в запасе; при этом фразы телеграфно сообщают и о конкретике яви, и о величии замысла.

Её замысел — эпос, и часть его была воплощена в сводах её прозы: нисколько не уступающей стихам.

Жизнь словно протаскивала и Марину, и Анастасию через жестокие фильтры, чтобы высветилась только суть огромного дарования обеих...

Если встать на позицию: страдания освещают, поднимают, лечат от земных привязанностей, то все тяготы сестёр были обоснованы; никто, однако, не сможет доказать, что позиция эта верна, и жизнь, если внимательно наблюдать за нею, гораздо опровергать твёрдость оной позиции.

Тем не менее, обе жизни, настолько пропитаны субстанцией трагедии, что, кажется, и творчества не должно было быть — а вот оно: роскошными полотнищами победы над суетой развёрнутое...

Грандиозные ритмы Марины уравнивались спокойными, плавно-медитативными прозаическими пассажами Анастасии...

Ведь и проза Марины — от её поэзии, от синтаксиса до рвано-мускульной, телеграфной манеры движения фраз...

А проза Анастасии, столько вобравшая в себя, мешающая историю, метафизику, бытописание — плана неспешно покачивающихся на волнах кораблей — и хоть порт приписки неизвестен, но сам путь сулит столько замечательного, что диву даёшься.

Широкие полотна воспоминаний развёрнуты и испещрены бесценными письменами, адресованными в грядущее, где непременно должно быть лучше.

...где — не должно быть сытого и тупого бургерского царства, из которого ловкий музыкант уводит детей, играя на дудочке.

...где — должны сиять лестницы гуманитарной культуры, способные предложить столь высокий подъём всем желающим.

...где — есть то, что есть, и просто перечисление этого «есть» едва ли будет питать оптимизм.

Тем не менее, сияющие имена двух сестёр становятся источниками света для тех, кто окончательно не изверился ещё в гуманитарной правде.

Неизбывность агрессии очевидна, если брать животную сторону человека: сильнейший всегда будет атаковать тех, кто слабее.

Но стойкость человека, способность не гнуться, противостоя антрацитовый энергии атакующих, не есть ли отсвет дальних огней, недоказуемая в нас гамма световой силы (как — способность к подвигу)?

Прекрасная Германия, залитая безумием, Германия, столь любимая Цветаевой, вибрирует в стихах её, подвергнутая уничтожительному анализу:

*О, дева всех румянее  
Среди зелёных гор —  
Германия!  
Германия!  
Германия!  
Позор!*

*Полкарты прикарманила,  
Астральная душа!  
Встарь — сказками туманила,  
Днесь — танками пошла.*

Весь цикл стихов к Чехии построен на двойной вибрации такой силы, что пространство вокруг, казалось бы, должно изгибаться.

Стихи не удержать — они рвутся выше и выше, неистовствуя и вспыхивая огнями, рассыпая пригоршни соли, и размётывая пепел, которого быть не должно.

Цветаева подходит к формуле понятия «народ» через волну восхищения:

*Его и пуля не берет,  
И песня не берет!  
Так и стою, раскрывши рот:  
— Народ! Какой народ!*

И офицер, оставивший двадцать солдат в лесу, вышедший на дорогу, занятую немцами и ставший стрелять в них, вырастает до метафизических объёмов древнего царя Леонида:

*— Край мой, виват!  
— Выкуси, герр!  
...Двадцать солдат.  
Один офицер.*

Мурашки идут по коже от чтения цикла.

Но — мурашки ещё идут по коже тела души, и мозг заливает жидкий, горячий свинец протеста: так не должно быть.

Так есть — во все века, в былом и ныне.

Что не мешает стихам вершить их грандиозную работу — хоть и не дано им сил, сколь бы грандиозны они не были, менять реальность...

Город Гаммельн, гордящийся древностью, и следованием в жизни линии дедов; город, жизнь внутри которого крепкая, как репа, не ждёт бед.

Тем более, исходящих от крыс — серого, упорного, адски прожорливого воинства, готового вносить свои коррективы в реальность.

(Через годы возникнет «Чума» Камю, где болезнь, закрывшая другой город, высветит сущность людей сильнее, чем рентгеновские лучи).

Цветаевский Гаммельн слишком правильный для беды — всем, вплоть до собак, видящих во сне ошейник, даже снится то, что должно...

Но... крысы, крысы.

Но — косность людского мировосприятия, готового довольствоваться только видимым материальным...

Пошлость человеческого сердца, низость мыслей и скудость интеллектуального пожитка тоже болезни, но бактерии их не исследуешь под микроскопом.

В сущности, «Крысолов» об извечном конфликте материального и духовного: а гармонию человеку не обрести.

Музыкант — из разряда «нищие, гении, рифмачи, Шуберты, музыканты» — для бюргеров хуже чёрта; но только он способен разрушить крысиную Индию, закончить серо-хвостатый рай, и вернуть — бюргерский, пышный, твёрдый, как репа...

Он и уведёт крыс, а, не получив Греты бургомистровой — детей ...шумная их вереница (точно крестовый детский, древний поход) погрузится в воду, следуя колдовской дудочке.

Расплата страшна, на такую бюргеры, отказавшиеся от обещанной платы, не рассчитывали.

Но бюргер — нечто противоречащее человеческим творческим возможностям; как нищий музыкант — сгусток оных.

Оттого и расплата такая, какой не ждёт никто.

Но — стих вибрирует, перенасыщенный метафорами, переполненный лицами; сам — «нешадный, как Тора».

Стих дидактический, хотя и скрыто — коли не найти гармонию меж внутренним и внешним, не жить вам, люди!

Стих эмоциональный чрезмерно, как избыльны лица внутри поэмы, и чёрточками, точками, эпитетом иногда выкругляются лица эти, становятся зрими...

...любые предупреждения поэтов уходят в пустоту: мир предпочитает внешне-материальное изобилие всему другому.

Мир будет сверкать и переливаться, шуметь, гулять, избыточно есть и пить, пока не появятся крысы.

А потом — крысолов.

Цветаева — взрыв и мука, рвущиеся сознательно провода веков, — чтобы соединились огненными, кипящими концами, дабы старые смыслы, изменившись, выхлестнулись в наш ад.

В наш рай — ибо то и другое соединяется странно, причудливо, в одной душе, в одной муке.

Цветаева, у которой даже «Автобус» доезжает до Навуходоносора — каков ассоциативный размах! и царь, жрущий траву, сиганувший с ума в бездну безумия, проявится, как персонаж не самой главной, но такой бередящей душу поэмы — «Автобус»...

Ахматова — как спокойное натяжение паруса, как сдержанная властность королевы (Мама, не королевствуй! — просил творец теории золотых шаров: пассионарности); Ахматова знаменитых погребков, где выступающие — пьющие и читающие — в равной мере плыли на волшебных облаках вдохновения и свинцово сознавали себя участниками мировой мистерии, слишком круто завернувшейся в двадцатом веке.

(Как бы обойтись без двадцать первого, низводящего поэзию на уровень собирательства кактусов?).

Цветаева — русским штормом врывающаяся в средневековый Гаммельн, чтобы в детальном вихре строк описав его, вывести приговор мещанской благодати, ничего общего не имеющий с благодатью.

Цветаева, поющая лунную Офелию, пока покорный неведомой флейте принц сидит на скорбном берегу.

...Ахматова, скорбь разливавшая в стихах густо, как мёд — необходимый для вкуса жизни; Ахматова, столько раз изображённая художниками, графически-гранёная в дымчато-синеватой фантазии Альтмана; понимающая самую косточку жизни.

Косточку, не подвластную гниению-тлению, превосходящую силой своей все законы, включая тот, что трактует о земле, как о магните: Ахматова-взлёт, Ахматова-прикосновение к небесам...

...даже к «небеси», как поётся в единственной произнесённой Христом молитве, данной заветом всем малым сим.

Цветаева, восстающая против малости, любящая чёрта, о чём говорится в прозе её, такого чёрта — что пугаться нечего: больше на дога похож: великолепного, очень умного, своеобразно красивого датского дога...

Цветаева, рвущаяся ввысь и ввысь — на дребезге сакральной струны, превращаемой ею в музыку: недаром в стихотворение «Новогоднее», посвящённое великому Рильке возникает баобаб: мощь, которой не дано взлёта.

Не дано никому.

Только мысленно.

«Шиповник» Ахматовой — как вариант космического корабля; она вся — в фиолетовом космосе, прекраснее которого нет, даже если «Реквием» должен прозвучать, даже если придётся написать несколько холуйских стихов...

Она сама — как взлёт, одновременно — космос и корабль, прободающий его бездны...

Цветаева — как разверстая бездна: концентрические круги: фантазмагория жизни.

Она — как порыв к Исайе, к Иеремии, меньшее невозможно...

Ахматова, беседующая с Соломоном — под музыку Перселла, чьи невероятной высоты столпы и колонны, кажется, превосходят понятие святость...

Идиллия городка, где грех редок, рисуется рвано-сказочным слогом, с массой таких деталей, когда отступление о пуговице становится бьющей током легендой...

Цветаевский напор ошеломляет, и появление крыс станет столь же логично, как потом крысолова.

В сущности, в поэме извечное цветаевское противостояние: голод голодных и сытость сытых: слишком сытых бургеров, и нищего, тощего, с дудочкой, не разменивающегося на быт.

Зачем ему Грета?

*Ни распоясавшихся невест,  
Ни должников, — и кроме  
Пива — ни жажды в сердцах. На вес  
Золота или крови —*

*Грех. Полстолетия (пятьдесят  
Лет) на одной постели  
Благополучно проспавши, спят  
Дальше. Вдвоём потели,*

*Вместе истлели?. Тюфяк, трава, —  
Разница какова?*

Телеграфное неистовство рвётся золотом стихов, нагнетая детали, увеличивая массу подробностей, через которые должна проступить сущность мира.

Но она проступает в лице крысолова: способного избавить город от крыс, но тою ценою, какую не захотят платить бургеры.

Но — отказавшись от одной цены, можно заплатить иную: гораздо более страшную. ...быт восстанавливается каталогом: ярко-красными языками пламени, ощущением неправильности... жить только бытом.

Но — бургеры и есть бургеры: они, собственного, сами по себе отрицание всякого искусства, дерзновения мысли, небесных устремлений.

*— Свежего, красного  
Лёгкого для пастора!*

И пойдёт трещотка разговоров: и жизнь людей этих: суетливая, вся вокруг материального восстановится ярко, плотно.

Естественно, удар будет нанесён именно по материальному: крысы начнут пожирать запасы, раз не могут сожрать самих обывателей.

О! они хотели бы: разрастание крыс велико: огромно и значение в жизни взятого в объектив Гаммельна (у Камю не так...)...

Насмешка над мерой: символ города — едва ли обоснована, но Цветаевой близка безмерность, мера для неё — символ ограниченности.

Начнётся Индия крыс: их торжество, их бархат; будет городской совет, где рожи крепки, как и тела: и то, и другое напоминает окорока.

Начнётся, закончится...

Увод крыс был щеголеват, увод детей — страшен...

Так ли хорош Крысолов?

Едва ли он тянет на гения — если только, как персонаж.

Однако, вся поэма, неистовствуя и полыхая, предлагает своеобразную панораму века: с жировыми складками богатства, уводом многих в недра ложных идей (кто такие взрослые? В сущности — выросшие дети), и со многим ещё, так яростно отражённом в рвущихся ритмах Цвета.